

А. СОЛЖЕНИЦЫН

ОДИН ДЕНЬ
ИВАНА ДЕНИСОВИЧА

ПЕРЕПЕЧАТАНО
ИЗ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»
№ 11, 1962

ЛОНДОН, ОНТАРИО КАНАДА
1971

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
BIBLIOTECA

PROVENIENZA

DONO

R. Setti

mod. 49 B 5000 5-73 st

его раз, другой, поняли, в чем дело, и стали дергать на поля из работяг.

В надзирательской яро топились печь. Разлевшись до грязных своих гимнастерок, двое надзирателей играли в шашки, а третий, как был, в перепоясанном тулупе и валенках, спал на узкой лавке. В углу стояло ведро с тряпкой.

Шухов обрадовался и сказал Татарину за прощение:

— Спасибо, гражданин начальник! Теперь никогда не буду залеживаться.

Закон здесь был простой: кончишь — уйдешь. Теперь, когда Шухову дали работу, вроде и ломать перестало. Он взял ведро и без рукавичек (наскорях забыл их под подушкой) пошел к колодцу.

Бригадир, ходившие в ППЧ — планово-производственную часть, — столпились несколько у столба, а один, помоложе, бывший Герой Советского Союза, влез на столб и протирал термометр.

Снизу советовали:

— Ты только в сторону дыши, а то поднимется.

— Фуимется! — поднимется!.. не влияет.

Тюрина, шуховского бригадира, меж них не было. Поставив ведро и сплетя руки в рукава, Шухов с любопытством наблюдал.

А тот хрипло сказал со столба:

— Двадцать семь с половиной, хреновина.

И, еще доглядев для верности, прыгнул.

— Да он неправильный, всегда брешет, — сказал кто-то. — Разве правильный в зоне повесят?

Бригадир разошелся. Шухов побежал к колодцу. Под спущенными, но не завязанными наушниками поламывало уши морозом.

Сруб колодца был в толстой обледни, так что едва пролезало в дыру ведро. И веревка стояла колом.

Рук не чувствуя, с дымящимся ведром Шухов вернулся в надзирательскую и сунул руки в колодезную воду. Потеплело.

Татарина не было, а надзирателей сбилось четверо, они покинули шашки и сон и спорили, по скольку им дадут в январе пшена (в поселке с продуктами было плохо, и надзирателям, хоть карточки давно кончились, продавали кой-какие продукты отдельно от поселковых, со скидкой).

— Дверь-то притягивай, ты, пахло! Дует! — отвлекать один из них.

Никак не годилось с утра мочить валенки. А и переобуться не во что, хоть и в барак побег. Разных порядков с обувью нагляделся Шухов за восемь лет (сидки; бывало, и вовсе без валенок зиму переживали, бывало, и ботинок тех не видали, только лапти да ЧТЗ (из резины) обутка, след автомобильный). Теперь вроде с обувью подналадилость: в октябре получил Шухов (а почему получил — с помбригадиром вместе в каптерку увязался) ботинки джюне, твердоносые, с простором на две теплых портянки. С неделю ходил как именинник, все новенькими каблучками постукивал. А в декабре валенки подоспели — житуха, умирать не надо. Так какой-то черт в бухгалтерии начальнику напечатал: валенки, мол, пусть получают, а ботинки сдадут. Мол, непорядок — чтобы ээж две пары имел сразу. И пришлось Шухову выбирать: или в ботинках всю зиму навывлет, или в валенках, хоть бы и в оттепель, а ботинки отдай. Берег, солидолом умягчал, ботинки новехонькие, ах! — ничего так жалко не было за восемь лет, как этих ботинков. В одну кучу скинули, весной уж твои не будут.

Сейчас Шухов так догадался: проворно вылез из валенок, составил их в угол, скинул туда портянки (ложка звякнула на пол; как быстро он снаряжался в карцер, а ложку не забыл) и босиком, щедро разливая тряпкой воду, ринулся под валенки к надзирателям.

— Ты! гад! потише! — спохватился один, подбирая: ноги на стул.

— Рис? Рис по другой норме идет, с рисом ты не равняй!

— Да ты сколько воды набираешь, дурак? Кто ж так моет?

— Гражданин начальник! А иначе его не вымоешь. Вьелась грязь-то...

— Ты хоть видал когда, как твоя баба помыла, чушка?

Шухов распрямился, держа в руке тряпку со стекающей водой. Он улыбнулся простодушно, показывая недостаток зубов, прорезанных цингой в Усть-Ижме в сорок третьем году, когда он доходил. Так доходил, что кровавым поносом начисто его пронесило, истощенный желудок ничего принимать не хотел. А теперь только шепелявые от того времени и остались.

— От бабы меня, гражданин начальник, в сорок первом году отставили. Не упомню, какая она и баба.

— Так вот они моют... Ничего, пацды, делать не умеют и не хотят. Хлеба того не стоят, что им дают. Дерьмом бы их кормить.

— Да на фуй его и мыть каждый день? Сырость не переводится. Ты вот что, слышь, восемьсот пятьдесят четвертый! Ты легонько протри, чтоб только мокровато было, и вали отсюда.

— Рис! Пшенку с рисом ты не равняй!

Шухов бойко управлялся.

Работа — она как палка, конца в ней два: для людей делаешь — качество дай, для дурака делаешь — дай показуху.

А иначе б давно все подошли, дело известное.

Шухов протер доски пола, чтобы пятен сухих не осталось, тряпку невыжатую бросил за печку, у порога свои валенки натянул, выплеснул воду на дорожку, где ходило начальство, — и наискось, мимо бани, мимо тмного охолодавшего здания клуба, надал к столовой.

Надо было еще и в санчасть поспеть, ломало опять всего. И еще надо было перед столовой надзирателям не попасться: был приказ начальника лагеря строгий — одиночек отставших ловить и сажать в карцер.

Перед столовой сегодня — случай такой дивный — толпа не густилась, очереди не было. Заходи.

Внутри стоял пар, как в бане, — напуски мороза от дверей и пар от баланды. Бригады сидели за столами или толкались в проходах, ждали, когда места освободятся. Прокликаясь через тесноту, от каждой бригады работяги по два, по три носили на деревянных подносах миски с баландой и кашей и искали для них места на столах. И все равно не слышит, обалдуй, спина еловая, на тебе, толкнул поднос. Плесь, плесь! Рукой его свободной — по шее, по шее! Правильно! Не стой на дороге, не высматривай, где подлизать.

Там, за столом, еще ложку не окупумши, парень молодой крестится. Значит, украинец западный, и то новичок.

А русские — и какой рукой креститься, забыли.

Сидеть в столовой холодно, едят больше в шапках, но не спеша, вылавливая разварки тленной мелкой рыбешки из-под листьев черной капусты и выплевывая косточки на стол. Когда их наберется гора на столе — перед новой бригадой кто-нибудь смахнет, и там они дохрястывают на полу.

А прямо на пол кости плевать — считается вроде бы неаккуратно.

Посреди барака шли в два ряда не то столбы, не то подпорки, и у одного из таких столбов сидел однобригадник Шухова Фетюков, стерег ему завтрак. Это был из последних бригадников, поллоше Шухова. Снаружи бригада вся в одних черных бушлатах и в номерах одинаковых, а внутри шибко неравно — ступеньками идет. Буйновского не посадишь с миской сидеть, а и Шухов не всякую работу возьмет, есть понижее.

Фетюков заметил Шухова и вздохнул, уступая место.

— Уж застыло все. Я за тебя есть хотел, думал — ты в кондее.

И — не стал ждать, зная, что Шухов ему не оставит, обе миски отштукатурит дочиста.

Шухов вытянул из валенка ложку. Ложка та была ему дорога, прошла с ним весь север, он сам отливал ее в песке из алюминиевого прохода, на ней и наковка стояла: «Усть-Ижма, 1944».

Потом Шухов снял шапку с бритой головы — как ни холодно, но не мог он себя допустить есть в шапке — и, взмучивая отстоявшуюся баланду, быстро проверил, что там попало в миску. Попало так, среднее. Не с начала бака наливали, но и не доболтки. С Фетюкова станет, что он, миску стережа, из нее картошку выловил.

Одна радость в баланде бывает, что горяча, но Шухову досталась теперь совсем холодная. Однако он стал есть ее так же медленно, внимательно. Уж тут хоть крыша горн — спешить не надо. Не считая сна, лагерник живет для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином.

Баланда не менялась ото дня ко дню, зависело — какой овощ на зиму заготовят. В летнем году заготовили одну соленую морковку — так и прошла баланда на чистой морковке с сентября до июня. А нынче — капуста черная. Самое сытное время лагернику — июнь: всякий овощ кончается и заменяют крупой. Самое худое время — июль: крапиву в котел секут.

Из рыбки мелкой попадались все больше кости, мясо с костей сварилось, развалилось, только на голове и на хвосте держалось. На хрупкой сетке рыбьего скелета не оставив ни чешушки, ни мясинки, Шухов еще мял зубами, высасывал скелет — и выплевывал на стол. В любой рыбе ел он все: хоть жабры, хоть хвост, и глаза ел, когда они в месте попадались, а когда вываривались и плавали в миске отдельно — большие рыбины глаза, — не ел. Над ним за то смеялись.

Сегодня Шухов сэкономил: в барак не зашедши, пайки не получил и теперь ел без хлеба. Хлеб — его потом отдельно нажать можно, еще сытей.

На второе была каша из магары. Она застыла в один слиток, Шухов ее отламывал кусочками. Магара не то что холодная — она и горячая ни вкуса, ни сытости не оставляет: трава и трава, только желтая, под вид пшена. Придумали давать ее вместо крупы, говорят — от китайцев. В вареном весе триста грамм тянет — и лады: каша не каша, а идет за кашу.

Облизав ложку и засунув ее на прежнее место в валенок, Шухов надел шапку и пошел в санчасть.

Было все так же темно в небе, с которого лагерные фонари согнали звезды. И все так же широкими струями два прожектора резали лагерьную зону. Как этот лагерь, Особый, зачинали — еще фронтовых ракет осветительных больно много было у охраны, чуть погаснет свет — сыпят ракетами над зоной, белыми, зелеными, красными, война настоящая. Потом не стали ракет кидать. Или дорогй обходятся?

Была все та же ночь, что и при подъеме, но опытному глазу по разным мелким приметам легко было определить, что скоро ударят развод. Помощник Хромого (дневальный по столовой Хромой от себя кормил и держал еще помощника) пошел звать на завтрак инвалидный шестой барак, то есть не выходящих за зону. В культурно-воспитательную группу пошел старый художник с бородкой — за краской и кисточкой, номера писать. Опять же Татарин широкими шагами, спеша, пересек линию и ушел в сторону штабного барака. И вообще снаружи народу поменьше — значит, все приткнулись и греются последние сладкие минуты.

Шухов проворно спрятался от Татарина за угол барака: второй раз попадешься — опять пригребется. Да и никогда зевать нельзя. Стараться надо, чтоб никакой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе толь-

ко. Может, он человека ищет на работу послать, может, зло отвести не на ком. Читали ж вот приказ по баракам — перед надзирателем за пять шагов снимать шапку и два шага спустя надеть. Иной надзиратель бредет, как слепой, ему все равно, а для других это сласть. Сколько за ту шапку в кондей перетаскали! Нет уж, за углом перестоям.

Миновал Тагарин — и уже Шухов совсем намерился в санчасть, как его озарило, что ведь сегодня утром до развода назначил ему длинный латыш из седьмого барака прийти купить два стакана самосада, а Шухов захлопотался, из головы вон. Длинный латыш вечером вчера получил посылку, и, может, завтра уж этого самосада не будет, жди тогда месяца новой посылки. Хороший у него самосад, крепкий в меру и духовитый. Буроватенький такой.

Раздогадывался Шухов, затоптался — не повернуть ли к седьмому барaku. Но до санчасти совсем мало оставалось, и он потрусил к крыльцу санчасти. Слышно скрипел снег под ногами.

В санчасти, как всегда, до того было чисто в коридоре, что страшно ступать по полу. И стены крашены эмалевой белой краской. И белая вся мебель.

Но двери кабинетов были все закрыты. Врачи-то, поди, еще с постелей не подымались. А в дежурке сидел фельдшер — молодой парень Коля Вдовушкин, за чистым столиком, в свеженьком белом халате — и что-то писал.

Никого больше не было.

Шухов снял шапку, как перед начальством, и, по лагерной привычке лезть глазами куда не следует, не мог не заметить, что Николай писал ровными-ровными строчками и каждую строчку, отступая от края, аккуратно одну под одной начинал с большой буквы. Шухову было, конечно, сразу понятно, что это — не работа, а по левой, но ему до того не было дела.

— Вот что... Николай Семенич... я вроде это... болел... совестливо, как будто зарясь на что чужое, сказал Шухов.

Вдовушкин поднял от работы спокойные, большие глаза. На нем был чепчик белый, халат белый, и номеров видно не было.

— Что ж ты поздно так? А вечером почему не пришел? Ты же знаешь, что утром приема нет? Список освобожденных уже в ППЧ.

— Да ведь, Коля... Оно с вечера, когда нужно, так и не болит.

— А что — оно? Оно — что болит?

— Да разобратся, бывает, и ничего не болит. А недужит всего.

Шухов не был из тех, кто липнет к санчасти, и Вдовушкин это знал. Но право ему было дано освободить утром только двух человек — и двух он уже освободил, и под зеленоватым стеклом на столе записаны были эти два человека, и подведена черта.

— Так надо было беспокоиться раньше. Что ж ты — под самый развод? На!

Вдовушкин вынул термометр из банки, куда они были спущены сквозь прорези в марле, обтер от раствора и дал Шухову держать.

Шухов сел на скамейку у стены, на самый краешек, только-только чтоб не перекувырнуться вместе с ней. Неудобное место такое он избрал даже не нарочно, а невольно показывая, что санчасть ему чужая и что пришел он в нее за малым.

А Вдовушкин писал дальше.

Санчасть была в самом глухом, дальнем углу зоны, и звуки сюда не достигали никакие. Ни ходики не стучали — заключенным часов не положено, время за них знает начальство. И даже мыши не скребли — всех их повыловил больничный кот, на то поставленный.

Было дивно Шухову сидеть в такой чистой комнате, в тишине такой, при яркой лампе целых пять минут и ничего не делать. Осмотрел он все стены — ничего на них не нашел. Осмотрел телогрейку свою — номер на груди пообтерся, каб не зацарапали, надо подновить. Свободной рукой еще бороду опробовал на лице — здоровая выперла, с той бани растет, дней боле десяти. А и не мешает. Еще дня через три баня будет, тогда и по-бродит. Чего в парикмахерской зря в очереди сидеть? Красоваться Шухову не для кого.

Потом, глядя на беленький-беленький чепчик Вдовушкина, Шухов вспомнил медсанбат на реке Ловать, как он пришел туда с поврежденной челюстью и — недотыка ж хренова! — доброй волею в строй вернулся. А мог пяток дней полежать.

Теперь вот грезнится: заболеть бы неделки на две, на три не насмерть и без операции, но чтобы в больничку положили, — лежал бы, кажется, три недели, не шевельнулся, а уж кормят бульоном пустым — лады.

Но, вспомнил Шухов, теперь и в больничке отлежу нет. С каким-то этапом новый доктор появился — Степан Григорыч, гонимый такой да звонкий, сам сумутится, и больным нет покою: выдумал всех ходячих больных выгонять на работу при больнице: загородку городить, дорожки делать, на клумбы землю нанашивать, а зимой — снегозадержание. Говорит, от болезни работа — первое лекарство.

От работы лошади дохнут. Это понимать надо. Ухайдакался бы сам на каменной кладке — небось бы тихо сидел.

...А Вдовушкин писал свое. Он, вправду, занимался работой «левой», но для Шухова не постижимой. Он переписывал новое длинное стихотворение, которое вчера отдал, а сегодня обещал показать Степану Григорычу, тому самому врачу, доборнику трудотерапии.

Как это делается только в лагерях, Степан Григорыч и посоветовал Вдовушкину объявиться фельдшером, поставил его на работу фельдшером, и стал Вдовушкин учиться делать внутривенные уколы на темных работагах, в чью добропорядочную голову никак бы не могло вступить, что фельдшер может быть вовсе и не фельдшером. Был же Коля студент литературного факультета, арестованный со второго курса. Степан Григорыч хотел, чтоб он написал в тюрьме то, чего ему не дали на воле.

...Сквозь двойные, непрозрачные от белого льда стекла еле слышно донесся звонок развода. Шухов вздохнул и встал. Знобило его, как и раньше, но коснуться, видно, не проходило. Вдовушкин протянул руку за термометром, посмотрел.

— Видишь, ни то ни се, тридцать семь и две. Было бы тридцать восемь, так каждому ясно. Я тебя освободить не могу. На свой страх, если хочешь, останься. После проверки посчитает доктор больным — освободит, а здоровым — отказчик, и в БУР. Сходи уж лучше за зону.

Шухов ничего не ответил и не кивнул даже, шапку нахлобучил и вышел.

Теплый зяблого разве когда поймет?

Мороз жал. Мороз едкой мглицей больно охватил Шухова и вынудил его закашляться. В морозе было двадцать семь, в Шухове тридцать семь. Теперь кто кого?

Трусой побежал: Шухов в барак. Линейка напролет была вся пуста, и лагерь весь стоял пуст. Была та минутка короткая, разморочивая, когда уже все оторвано, но прикидываются, что нет, что не будет развода. Конвой сидит в теплых казармах, сонные головы прислоня к винтовкам, — тоже им не масло сливочное в такой мороз на вышках топтаться. Вахтеры на главной вахте подбрасывают в печку угля. Надзиратели в надзирательской докуривают последнюю сигарку перед обыском.

А заключенные, уже одетые во всю свою рвань, перепоясанные всеми веревочками, обмотавшись от подбородка до глаз тряпками от мороза, — лежат на парах поверх одеял в валенках и, глаза закрыв, обмирают. Аж пока бригадир крикнет: «На-дзем!»

Дремала со всем девятым бараком и 104-я бригада. Только помбригадир Павло, шевеля губами, что-то считал карандашником да на верхних варах баптист Алешка, сосед Шухова, чистенький, приумутый, читал свою записную книжку, где у него была переписана половина евангелия.

Шухов вбежал хогь и стремглав, а тихо совсем, и — к помбригадировой вагонке.

Павло поднял голову.

— Не посадили, Иван Денисыч? Живы? (Украинцев западных никак не переучат, они и в лагере по отчеству да выкают.)

И, со стола взявши, протянул пайку. А на пайке — сахару черпачок опрокинул холмиком белым.

Очень спешил Шухов и все ж ответил прилично (помбригадир — тоже начальство, от него даже больше зависит, чем от начальника лагеря). Уж как спешил, с хлеба сахар губами забрал, языком подлизнул, одной ногой на кронштейник — лезть наверх постель заправлять, — а пайку так и так посмотрел, и рукой на лету взвесил: есть ли в ней те пятьсот пятьдесят грамм, что положены. Паек этих тысячу не одну переполучал Шухов в тюрьмах и в лагерях, и хоть ни одной из них на весах проверить не пришлось, и хоть шуметь и качать права он, как человек робкий, не смел, но всякому арестанту и Шухову давно понятно, что, честно вешая, в хлебрезке не удержишься. Недача есть в каждой пайке — только какая, велика ли? Вот каждый день и смотришь, душу успокоить — может, сегодня обманули меня не круто? Может, в моей-то граммы почти все?

— Грамм двадцать не дотягивает, — решил Шухов и преломил пайку надвое. Одну половину за пазуху сунул, под телогрейку, а там у него карманчик белый специально пришит (на фабрике телогрейки для эзков шьют без карманов). Другую половину, сэкономленную за завтраком, думал и съест тут же, да наспех еда не еда, пройдет даром, без сытости. Потянулся сунуть полпайки в тумбочку, но опять раздумал: вспомнил, что дневальные уже два раза за воровство биты. Барак большой, как двор проезжий.

И потому, не выпуская хлеба из рук, Иван Денисович вытянул ноги из валенок, ловко оставив там и портянки и ложку, взлез босой наверх, расширил дырочку в матрасе и туда, в опилки, спрятал свои полпайки. Шапку с головы содрал, вытащил из нее иголочку с ниточкой (тоже запрятана глубоко, на шмоне шапки тоже шупают; одна ниточка надзиратель об иголку накололся, так чуть Шухову голову со злости не разбил). Стежь, стежь, стежь — вот и дырочку за пайкой спрятанной прихватил. Тем временем сахар во рту дотаял. Все в Шухове было напряжено до крайности — вот сейчас нарядчик в дверях заорет. Пальцы Шухова славно шевелились, а голова, забегая вперед, располагала, что дальше.

Баптист читал евангелие не вовсе про себя, а как бы в дыхание (может, для Шухова нарочно, они ведь, эти баптисты, любят агитировать):

— «Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или как вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй бога за такую участь».

За что Алешка молодец: эту книжечку свою так засыпывает ловко в щель в стене — ни на едином шмоне еще не нашли.

Теми же быстрыми движениями Шухов свесил на перекладину бушлат, повытаскивал из-под матраса рукавички, еще пару худых портянок,

— Ра-асстегнуть рубахи!

Волкового не то что зэки и не то что надзиратели — сам начальник лагеря, говорят, боится. Вот бог шельму метит, фамильицу дал! — иначе, как волк, Волковой не смотрит. Темный, да длинный, да надуленный — и носится быстро. Вынырнет из-за барака: «А тут что собрались?» Не ухоришься. Поперву он еще плетку таскал, как рука до локтя, кожаную, крученую. В БУРе ею сек, говорят. Или на проверке вечерней столпятся зэки у барака, а он подкрадется сзади да хлесь плетью по шее: «Почему в строй не стал, падло?» Как волной от него толпу шархнет. Обожженный за шею схватится, вытрет кровь, молчит: каб еще БУРа не дал.

Теперь что-то не стал плетку носить.

В мороз на простом шмоне не по вечерам, так хоть утром порядок был мягкий: заключенный расстегивал бушлат и отводил его полы в стороны. Так шли по пять, и пять надзирателей навстречу стояло. Они хлопывали зэка по бокам запоясанной телогрейки, хлопали го единственному положенному карману на правом колене, сами бывали в перчатках, и если что-нибудь непонятное нащупывали, то не вытягивали сразу, а спрашивали, лентясь: «Это — что?»

Утром что искать у зэка? Ножи? Так их не из лагеря носят, а в лагерь. Утром проверить надо, не несет ли с собой еды килограмма три, чтобы с нею сбежать. Было время, так так этого хлеба боялись, кусочка двухсотграммового на обед, что был приказ издан: каждой бригаде сделать себе деревянный чемодан и в том чемодане носить весь хлеб бригадный, все кусочки от бригадников собирать. В чем тут они располагали выгадать — нельзя додуматься, а скорей чтобы людей мучить, за бота лишняя: пайку эту свою надкуси, да заметь, да клади в чемодан, а они, куски, все равно похожие, все из одного хлеба, и всю дорогу об том думай и мучайся, не подменят ли твой кусок, да друг с другом спорь, иногда и до драки. Только однажды сбежали из производственной зоны трое на автомашине и такой чемодан хлеба прихватили. Опомнились тогда начальники и все чемоданы на вахте порубали. Носи, мол, опять всяк себе.

Еще проверить утром надо, не одет ли костюм гражданский по: зэковский? Так ведь вещи гражданские давно начисто у всех отменены и до конца срока не отдадут, сказали. А конца срока в этом лагере ни у кого еще не было.

И проверить — письма не несет ли, чтоб через вольного толкануть? Да только у каждого письмо искать — до обеда проканителиться.

Но крикнул что-то Волковой искать — и надзиратели быстро перчатки снимали, телогрейки велют распуснуть (где каждый тепло барачное спрятал), рубахи расстегнуть — и лезут перещупывать, не поддето ли чего в обход устава. Положено зэку две рубахи — нижняя да верхняя, остальное снять! — вот как передали зэки из ряда в ряд приказ Волкового. Какие раньше бригады прошли — ихее счастье, (уж) и за воротами некоторые, а эти — открывайся! У кого поддето — скидай тут же на морозе! X

Так и начали, да неладка у них вышла: в воротах уже прочистилось, конвой с вахты орет: давай! давай! И Волковой на 104-й сменил гнев на милость: записывать, на ком что лишнее, вечером сами пусть в каптерку сдадут и объяснительную записку напишут: как и почему скрыли.

На Шухове-то все казенное, на, щупай — грудь да душа, а у Цезаря рубаху байковую записали, а у Буйновского, кесь, жилетик или напузник какой-то. Буйновский — в горло, на миноносцах своих привык, а в лагере трех месяцев нет:

79/30

измучен

в. Иван. С. С. 108

4 факт.

упреждение

giaccone
giaccone

сидит
сидит

cautiera
cautiera
cautiera

sequestati

mettici tanto tempo

splacato

сидит
оперное

maglia
maglia

— Вы права не имете людей на морозе раздевать! Вы девятую статью уголовного кодекса не знаете!..

Имеют. Знают. Это ты, брат, еще не знаешь.

— Вы не советские люди! — долбаेत их капитан. — Вы не коммунисты!

Статью из кодекса еще терпел Волковой, а тут, как молния черная, передернулся:

— Десять суток строгого!

И потише старшине:

— К вечеру оформишь.

Они по утрам-то не любят в карьер брать: человеко-выход теряется. День пусть спину погнет, а вечером его в БУР.

Тут же и БУР по левую руку от линейки: каменный, в два крыла. Второе крыло этой осенью достроили — в одном помещаться не стали. На восемнадцать камер тюрьма, да одиночки из камер нагорожены. Весь лагерь деревянный, одна тюрьма каменная.

Холод под рубаху зашел, теперь не выгонишь. Что укутаны были зэки — все зря. И так это нудно тянет спину Шухову. В коечку больничную лечь бы сейчас — и спать. И ничего больше не хочется. Одеяло бы потяжелее.

Стоят зэки перед воротами, застегиваются, завязываются, а снаружи конвой:

— Давай! Давай!

И нарядчик в спины пихает:

— Давай! Давай!

Одни ворота. Предзонник. Вторые ворота. И перила с двух сторон около вахты.

— Стой! — шумит вахтер. — Как баранов стадо. Разберись по пять! Уже рассмеркивалось. Догорал костер конвоя за вахтой. Они перед разводом всегда разжигают костер — чтобы греться и чтоб считать виднее.

Один вахтер громко, резко отсчитывал:

— Первая! Вторая! Третья!

И пятерки отделялись и шли цепочками отдельными, так что хоть сзади, хоть спереди смотри: пять голов, пять спин, десять ног.

А второй вахтер — контролер, у других перил молча стоит, только проверяет, счет правильный ли.

И еще лейтенант стоит, смотрит.

Это от лагеря.

Человек — дороже золота. Одной головы за проволокой не достанет — свою голову туда добавишь.

И опять бригада слилась вся вместе.

И теперь сержант конвоя считает:

— Первая! Вторая! Третья!

И пятерки опять отделяются и идут цепочками отдельными. И помощник начальника караула с другой стороны проверяет.

И еще лейтенант.

Это от конвоя.

Никак нельзя ошибиться. За лишнюю голову распишешься — своей головой заменишь.

А конвоиров понатыкано! Полукругом обняли колонну ТЭЦ, автома- ты вскинули, прямо в морду тебе держат. И собаководы с собаками серыми. Одна собака зубы оскалила, как смеется над зэками. Конвоиры все в полушубках, лишь шестеро в тулупах. Тулупы у них сменные: тот надевает, кому на вышку идти.

mandar gin

подписали

защита

part. col. con
Kaban

По лагерям да по тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что завтра, что через год да чем семью кормить. Обо всем за него начальство думает — оно, будто, и легче. И сидеть ему еще зиму-лето да зиму-лето. А разбередили его эти ковры...

Заработок, видать, легкий, огневой. И от своих деревенских отставать вроде обидно... Но, по душе, не хотел бы Иван Денисович за те ковры браться. Для них развязность нужна, нахальство, кому-то на лалу совать. Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился.

Легкие деньги — они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова еще добрые, смогают, неуж он себе на воле ни печной работы не найдет, ни столярной, ни жестяной?

Вот только из-за лишения прав не примут никуда, да домой не пустят — ну, тогда влору хоть и за ковры.

Колонна тем временем дошла и остановилась перед вахтой широко раскинутой зоны о с ъ е к т а. Еще раньше, с угла зоны, два котвоира в тулупах отделились и побрели по полю к своим дальним вышкам. Пока всех вышек конвой не займет, внутрь не пустят. Начкар с автоматом за плечом пошел на вахту. А из вахты, из трубы, дым, не переставая, клубится: вольный вахтер всю ночь там сидит, чтоб доски не вывезли или цемент.

Напересёк через ворота проволочные, и через всю строительную зону, и через дальнюю проволоку, что по тот бок, — солнце встает большое, красное, как бы во мгле. Рядом с Шуховым Алешка смотрит на солнце и радуется, улыбка на губы сошла. Щеки вваленные, на пайке сидит, нигде не подрабатывает — чему рад? По воскресеньям все с другими баптистами шепчется. С них лагеря, как с гуся вода.

Намордник дорожный, тряпочка, за дорогу вся отмокла от дыхания и кой-где морозом прихватила, коркой стала ледяная Шухов ее сунул с лица на шею и стал к ветру спиной. Нигде его особо не продрагло, а только руки озябли в худых рукавичках, да онемели пальцы на левой ноге: валенок-то левый горетый, второй раз подшитый.

Поясницу и спину всю до плечей тянет, ломает — как работать?

Оглянулся — и на бригадира лицом попал, тот в задней пятерке шел. Бригадир в плечах здоров, да и образ у него широкий. Хмур стоит. Смефучками он бригаду свою не жалуется, а кормит — ничего, о большой пайке заботлив. Сидит он второй срок, сын ГУЛАГа, лагерный обычай знает напрожег.

Бригадир в лагере — это все: хороший бригадир тебе жизнь вторую даст, плохой бригадир в деревянный бушлат загонит. Андрея Прокофьевича знал Шухов еще по Усть-Ижме, только там у него в бригаде не был. А когда с Усть-Ижмы, из общего лагеря, перегнали пятьдесят восьмую статью сюда, в каторжный, — тут его Тюрия подобрал. С начальником лагеря, с ППЧ, с прорабами, с инженерами Шухов дела не имеет: везде его бригадир застоит, грудь стальная у бригадира. Зато шевельнет бровью или пальцем покажет — беги, делай. Кого хошь в лагере обманывай, только Андрей Прокофьевича не обманывай. И будешь жив.

И хочется Шухову спросить бригадира, там же ли работать, где вчера, на другое ли место переходить — а боязно перебивать его высокую думу. Только что Соцгородок с плеч спихнул, теперь, бывает, процентку обдумывает, от нее пять следующих дней питания зависит.

Лицо у бригадира в рябинах крупных, от оспы. Стоит против ветра — не поморщится, кожа на лице — как кора дубовая.

Хлопают руками, перетаптываются в колонне. Злой ветерок! Уж, кажется, на всех шести вышках попки сидят — опять в зону не пускают. Бдительность, дравят.

Ну! Вышли начкар с контролером из вахты, по обоим сторонам ворота стали, и ворота развети.

— Р-раз-берись по пятеркам! Пер-вая! Втор-ра-я!

Зашагали арестанты как на парад, шагом чуть не строевым. Только б в зону прорваться, там не учи, что делать.

За вахтой вскоре — будка конторы, около конторы стоит прораб, бригадиров заворачивает, да они и сами к нему. И Дэр туда, десятник из эзков, сволочь хорошая, своего брата-эзка хуже собак гоняет.

Восемь часов, пять минут девятого (только что энергопоезд прогудел), начальство боится, как бы эзки время не потеряли, по обогревалкам бы не рассыпались — а у эзков день большой, на все время хватит. Кто в зону зайдет, наклонится: там шепочка, здесь шепочка, нашей печке огонь. И в норы закуркивают.

Тюрия велел Павлу, помощнику, идти с ним в контору. Туда же Цезарь свернул. Цезарь богатый, два раза в месяц посылки, всем сунул, кому надо, — и придурком работает в конторе, помощником нормировщика.

А остальная 104-я сразу в сторону, и деру, деру.

Солнце вошло красное, мглистое над зоной пустой: где шиты сборных домов снегом занесены, где кладка каменная начата, да у фундамента и брошенная, там экскаватора рукоять переломленная лежит, там ковш, там хлам железный, канав понарыто, траншей, ям наворочено, авторемонтные мастерские под перекрытие выведены, а на бугре — ТЭЦ в начале второго этежа.

И — попрятались все. Только шесть ^{сидят} часовых стоят на вышках, да около конторы суется. Вот этот-то наш миг и есть! Старший прораб сколько, говорит, грозился разнарядку всем бригадам давать с вечера — а никак не наладят. Потому что с вечера до утра у них все наоборот почорачивается.

А миг — наш! Пока начальство разберется — приткнись, где потеплей, сядь, сиди, еще наломаешь спину. Хорошо, если оклопечки — портянки переобернуть да согреть их малость. Тогда во весь день ноги будут теплые. А и без печки — все одно хорошо.

Сто четвертая бригада вошла в большой зал в авторемонтных, где остеклено с осени и 38-я бригада бетонные плиты льет. Одни плиты в формах лежат, другие стоймя наставлены, там арматура сетками. Доверху высоко и пол земляной, тепло тут не будет тепло, а все ж этот зал обтапливают, угля не жалеют: не для того, чтоб людям греться, а чтобы плиты лучше схватывались. Даже градусник висит, и в воскресенье, если лагерь почему на работу не выйдет, вольный тоже топтит.

Тридцать восьмая, конечно, чужих никого к печи не допускает, сама обседа, портянки сушит. Ладно, мы и тут, в уголку, ничего.

Задом ватных брюк, везде уже пересидевших, Шухов пристроился на край деревянной формы, а спиной в стенку уперся. И когда он отклонился — натянулись его бушлат и телогрейка, и левой стороной груди, у сердца, он ощутил, как подавливает твердое что-то. Это твердое было — из внутреннего карманчика угол хлебной краюшки, той половины утренней пайки, которую он взял себе на обед. Всегда он столько с собой и брал на работу и не посягал до обеда. Но он другую половину съедал за завтраком, а ночью не съел. И понял Шухов, что ничего он не сэкономил: засосало его сейчас ту пайку съесть в тепле. До обеда — пять часов, протяжко.

11.53

60

желез
пид
меш
в
защит
кно

с
в
и

→

а

Шухов

т

Прикинули, откуда шлакоблоки подавать. Вниз заглянули. Так и решили: чем по трату таскать, четверых снизу поставить кидать шлакоблоки вон на те подмости, а тут еще двоих, перекидывать, а по второму этажу еще двоих, подносить, — и все ж быстрее будет.

Наверху ветерок не сильный, но тянет. Продует, как класть будем. А за начатую кладку зайдешь, укроешься — ничего, теплей намного.

Шухов поднял голову на небо и ахнул: небо чистое, а солнышко почти к обеду поднялось. Диво дивное: вот время за работой идет! Сколь раз Шухов замечал: дни в лагере катятся — не оглянешься. А срок сам — ничуть не идет, не убавляется его вовсе.

Спустились вниз, а там уж все к печке уселись, только кавторанг с Фетюковым песок несут. Разгневался Павло, восемь человек сразу выгнал на шлакоблоки, двум велел цементу в ящик насыпать и с песком насухую размешивать, того — за водой, того — за углем. А Кильгас — своей команде:

- Ну, мальцы, надо носилки кончать.
- Бывает, и я им помогу? — Шухов сам у Павла работу просит.
- Поможить. — Павло кивает.

Тут бак принесли, снег растапливать для раствора, слышали от кого-то, будто двенадцать часов уже.

— Не иначе как двенадцать, — объявил и Шухов. — Солнышко на перевале уже.

— Если на перевале, — отозвался кавторанг, — так значит не двенадцать, а час.

— Это почему ж? — поразился Шухов. — Всем дедам известно: всего выше солнце в обед стоит.

— То — дедам! — отрубил кавторанг. — А с тех пор декрет был, и солнце выше всего в час стоит.

- Чей же эт декрет?
- Советской власти!

Вышел кавторанг с носилками, да Шухов бы и спорить не стал. Неуж и солнце ихим декретам подчиняется?

Побили еще, постучали, четыре корытца сколотили.

— Ладно, посыдымо, погрнемось, — двоим каменщикам сказал Павло. — И вы, Сенька, пилса обида тоже будэтэ ложить. Сидайте!

И — сели к печке законно. Все равно до обеда уж кладки не начинать, а раствор разводить нехстати, замерзнет.

Уголь накалился помалу, теперь устойчивый жар дает. Телько около печи его и чуешь, а по всему залу — холод, как был.

Рукавички сняли, руками близ печки водят все четверо.

А ноги близко к огню никогда в обуви не ставь, это понимать надо. Если ботинки, так в них кожа растрескается, а если валенки — отсыреют, парок пойдет, ничуть тебе теплей не станет. А еще ближе к огню сунешь — сожжешь. Так с дырой до весны и протопашь, других не жди.

— Да Шухову что? — Кильгас подначивает. — Шухов, братцы, одной ногой почти дома.

— Вон той, босой, — подкинул кто-то. Рассмеялись. (Шухов левый горетый валенок снял и портянку согревает.)

— Шухов срок кончает.

Самому-то Кильгасу двадцать пять дали. Это полоса была раньше такая счастливая: всем под гребенку десять давали. А с сорок девятого такая полоса пошла — всем по двадцать пять, невзирая. Десять-то еще можно прожить, не околеет, — а ну, двадцать пять прожить?!

Шухову и приятно, что так на него все пальцами тычут: вот, он-де срок кончает, — но сам он в это не больно верит. Вон, у кого в войну срок кончался, всех до особого распоряжения держали, до сорок

шестого года. У кого и основного-то срока три года было, так пять лет пересидки получились. Закон — он выворотной. Кончатся десятка — скажут, на тебе еще одну. Или в ссылку.

А иной раз подумашь — дух содрет: срок-то все ж кончается, катушка-то на размоте... Господи! Своими ногами — да на волю, а?

Только вслух об том высказывать старому лагернику непристойно. И Шухов Кильгасу:

— Двадцать пять ты свои не считай. Двадцать пять сидеть ли, нет ли, это еще видишь по воде. А уж я отсидел восемь полных, так это точно.

Так вот живешь об землю рожей, и времени-то не бывает подумать: как сел? да как выйдешь?

Считается по делу, что Шухов за измену родине сел. И показания он дал, что таки да, он сдался в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое ж задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следовательно. Так и оставили просто — задание.

Расчет был у Шухова простой: не подпишешь — бушлат деревянный, подпишешь — хоть поживешь еще малость. Подписал.

А было вот как: в феврале сорок второго года на Северо-Западном окружили их армию всю, и с самолетов им ничего жрать не бросали, а с самолетов тех не было. Дошли до того, что строгали копыта с лошадей околевших, размачивали ту роговицу в воде и ели. И стрелять было нечем. И так их помалу немцы по лесам ловили и брали. И вот в группе такой одной Шухов в плену побыл пару дней, там же, в лесах, — и убежали они внятером. И еще по лесам, по болотам покрались — чудом к своим попали. Только двоих автоматчик на месте уложил, третий от ран умер, — двое их и дошло. Были б умней — сказали б, что по лесам бродили, и ничего б им. А они открылись: мол, из плена немецкого. Из плена? Мать вашу так! Было б их пять, может сличили показания, поверили б, а двоим никак: сговорились, мол, гады насчет побега.

Сенька Клевшин услышал через глушь свою, что о побеге из плена говорят, и сказал громко:

— Я из плена три раза бежал. И три раза ловили.

Сенька, терпеливх, все молчит больше: людей не слышит и в разговор не вмешивается. Так про него и знают мало, только то, что он в Бухенвальде сидел и там в подпольной организации был, оружие в зону носил для восстания. И как его немцы за руки сзади спины подвешивали и палками били.

— Ты, Ваня, восемь сидел — в каких лагерях? — Кильгас перечит. — Ты в бытовых сидел, ты там с бабами жили. Вы номеров не носили. А вот в каторжном восемь лет посиди! Еще никто не просидел.

— С бабами!.. С баланами, а не с бабами...

С бревнами, значит.

В огонь печной Шухов уставился, и вспомнился ему семь лет его на севере. И как он на бревнотаске три года укатывал тарный кряж да шпальник. И костра вот так же огонь переменный — на лесоповале, да не днешном, а ночном повале. Закон был такой у начальника: бригада, не выполнившая дневного задания, остается на ночь в лесу.

Уж за полночь до лагеря дотянутся, утром опять в лес.

— Не-ет, братцы... здесь поспокойней, пожалуй, — прошепелявил он. — Тут съем — закон. Выполнил, не выполнил — катись в зону. И гарантика тут на сто грамм выше. Тут — жить можно. Особый — и пусть он особый, номера тебе мешают, что ль? Они не весят, номера.

— Поспокойней! — Фетюков шипит (дело к перерыву, и все к печке подтянулись). — Людям в постелях режут! Поспокойней!..

— Не людей, а стукачив! — Павло палец поднял, грозит Фетюкову

— Две! Четыре! Шесть! — считает повар за окошком. Он сразу по две в две руки дает. Так ему легче, по одной сбиться можно.

— Два, четыре, шість,— негромко повторяет Павло туда ему в окошко. И сразу по две миски передает Шухову, а Шухов на стол ставит. Шухов вслух ничего не повторяет, а считает острой их.

— Восемь, десять.

Что это Гопчик бригаду не ведет?

— Двенадцать, четырнадцать...— идет счет.

Да мисок не достало на кухне. Мимо головы и плеча Павла видно Шухову: две руки повара поставили две миски в окошечке и, держась за них, остановились, как бы в раздумье. Должно, он повернулся и посудомоев ругает. А тут ему в окошечко еще стопку мисок опорожненных суют. Он с тех нижних мисок руки стронул, стопку порожних назад передает.

Шухов покинул всю гору мисок своих за столом, ногой через скамью перемахнул, обе миски потянул и, вроде не для повара, а для Павла, повторил не очень громко:

— Четырнадцать.

— Стой! Куда потянул? — заорал повар.

— Наш, наш,— подтвердил Павло.

— Ваш-то, ваш, да счета не сбивай!

— Четырнадцать,— пожал плечами Павло. Он-то бы сам не стал миски косить, ему, как помбригадиру, авторитет надо держать, ну, а тут повторил за Шуховым, на него же и свалить можно.

— Я «четырнадцать» уже говорил! — разоряется повар.

— Ну что ж, что говорил! а сам не дал, руками задержал! — шумнул Шухов.— Иди считай, не веришь? Вот они, на столе все!

Шухов кричал повару, но уже заметил двух эстонцев, пробивавшихся к нему, и две миски с ходу им сунул. И еще он успел вернуться к столу, и еще успел сочнуть, что все на месте, соседи спереть ничего не управились, а свободно могли.

В окошке вплотную показалась красная рожа повара.

— Где миски? — строго спросил он.

— На, пожалуйста! — кричал Шухов.— Отодвинься ты, друг ситный, не засты! — толкнул он кого-то.— Вот две! — он две миски второго этажа поднял повыше.— И вон три ряда по четыре, аккурат, считай.

— А бригада не пришла? — недоверчиво смотрел повар в том маленьком просторе, который давало ему окошко, для того и узкое, чтоб к нему из столовой не подглядывали, сколько там в котле осталось.

— Ни, нэма ще бригады,— покачал головой Павло.

— Так какого ж вы хрена миски занимаете, когда бригады нет? — рассвирепел повар.

— Вон, вон бригада! — закричал Шухов.

И все услышали окрики кавторанга в дверях, как с капитанского мостика:

— Чего столпились? Поели — и выходи! Дай другим!

Повар пробуркотел еще, выпрямился, и опять в окошке появились его руки.

— Шестнадцать, восемнадцать...

И, последнюю налив, двойную:

— Двадцать три. Все! Следующая!

Стали пробиваться бригадники, и Павло протягивал им миски, козу через головы сидящих, на второй стол.

На скамейке на каждой летом село бы человек по пять, но как сейчас все были одеты толсто — еле по четыре умещалось, и то ложками им двигать было несправно.

Рассчитывая, что из закошенных двух порций уж хоть одна-то будет его, Шухов быстро принялся за свою кровную. Для того он колено правое подтянул к животу, из-под валеного голенища вытянул ложку «Усть-Ижма, 1944», шапку снял, поджал под левую мышку, а ложкою обтронул кашу с краев.

Вот эту минуту надо было сейчас всю собрать на еду и, каши той тонкий пласт со дна снимая, аккуратно в рот класть и во рту языком переминать. Но приходилось поспешить, чтобы Павло увидел, что он уже кончил, и предложил бы ему вторую кашу. А тут еще Фетюков, который пришел с эстонцами вместе, все подметил, как две каши закосили, стал прыгом против Павла и ел стоя, поглядывая на четыре оставшихся неразобранных бригадных порции. Он хотел тем показать Павлу, что ему тоже надо бы дать если не порцию, то хоть полпорции.

Смуглый молодой Павло, однако, спокойно ел свою двойную, и по его лицу никак было не звать, видит ли он, кто тут рядом, и помнит ли, что две порции лишние.

Шухов доел кашу. Оттого, что он желудок свой разявил сразу на две — от одной ему не стало сытно, как становилось всегда от овсянки. Шухов полез во внутренний карман, из тряпицы беленькой достал свой незамерзлый полукруглый кусочек верхней корочки, ею стал бережно вытирать все остатки овсяной размазни со дна и разложистых боковин миски. Насобирав, он слизывал кашу с корочки языком и еще собирал корочкою с эстолько. Наконец миска была чиста, как вымыта, разве чуть замутнена. Он через плечо отдал миску сборщику и продолжал минуту сидеть со снятой шапкой.

Хоть закосил миски Шухов, а хозяин им — помбригадир.

Павло потомил еще немного, пока тоже кончил свою миску, но не вылизывал, а только ложку облизал, спрятал, перекрестился. И тогда тронул слегка — передвинуть было тесно — две миски из четырех, как бы тем отдавая их Шухову.

— Иван Денисович. Одну себе взять, а одну Цезарю отдать.

Шухов помнил, что одну миску надо Цезарю нести в контору (Цезарь сам никогда не унизился ходить в столовую ни здесь, ни в лагере). — помнил, но когда Павло коснулся сразу двух мисок, сердце Шухова обмерло: не обе ли лишние ему отдавал Павло? И сейчас же опять пошло сердце своим ходом.

И сейчас же он наклонился над своей законной добычей и стал есть рассудительно, не чувствуя, как толкали его в спину новые бригады. Он досадовал только, не отдали бы вторую кашу Фетюкову. Шакалить Фетюков всегда мастак, а закосить бы смелости не хватило.

...А вблизи от них сидел за столом кавторанг Буйновский. Он давно уже кончил свою кашу и не знал, что в бригаде есть лишние, и не оглядывался, сколько их там осталось у помбригадира. Он просто разомлел, разогрелся, не имел сил встать и идти на мороз или в холодную, необогреваемую обогревалку. Он так же занимал сейчас незаконное место здесь и мешал новоприбывающим бригадам, как те, кого пять минут назад он изгнал своим металлическим голосом. Он недавно был в лагере, недавно на общих работах. Такие минуты, как сейчас, были (он не знал этого) особо важными для него минутами, превращавшими его из властного звонкого морского офицера в малоподвижного осматрительного ээка, только этой малоподвижностью и могущего перемочь отвёрстанные ему двадцать пять лет тюрьмы.

...На него уже кричали и в спину толкали, чтоб он освобождал место.

Павло сказал:

— Капитан! А, капитан?

*linguaggio autor
che si faceva
qualche dell'intel
e per
colantano e
panduro*

*simpatia
sposato dal
p. 65*

*autoritario
pittante*

Буйновский вздрогнул, как просыпаясь, и оглянулся.

Павло протянул ему кашу, не спрашивая, хочет ли он.

Брови Буйновского поднялись, глаза его смотрели на кашу, как на чудо невиданное.

— Берить, берить, — успокоил его Павло и, забрав последнюю кашу для бригадира, ушел.

...Виноватая улыбка раздвинула истресканные губы капитана, ходившего и вокруг Европы, и Великим северным путем. И он наклонился, счастливый, над неполным черпаком жидкой овсяной каши, безжирной вовсе, — над овсом и водой.

...Фетюков злобно посмотрел на Шухова, на капитана и отошел.

А по Шухову правильно, что капитану отдали. Придет пора, и капитан жить научится, а пока не умеет.]

Еще Шухов слабую надежду имел — не отдаст ли ему и Цезарь своей каши? Но не должен бы отдать, потому что посылки не получал уже две недели.

После второй каши так же вылизав донце и развал миски корочкой хлеба и так же слизывая с корочки каждый раз, Шухов напоследок съел и саму корочку. После чего взял охолодевшую кашу Цезаря и пошел.

— В контору! — оттолкнул он шестерку на дверях, не пропускавшего с миской.

Контора была — рубленая изба близ вахты. Дым, как утром, и посейчас все валит из ее трубы. Топил ее дневальный, он же и посыльный, повременку ему выписывают. А щепок да палочья для конторы не жалуют.

Заскрипел Шухов дверью тамбура, еще потом одной дверью, обитой паклею, и, аваливая клубы морозного пара, вошел внутрь и быстро, зрительно притянул за собой дверь (спеша, чтоб не крикнули на него: «Эй, ты, вахлак, дверь закрывай!»).

Жара ему показалась в конторе, ровно и бане. Через окна с оттаявшим льдом солнышко играло уже не зло, как там, наверху ТЭЦ, а весело. И расходился в луче широкий дым от трубки Цезаря, как ладан в церкви. А печка вся красно насквозь светилась, так раскалили, идола. И трубы докрасна.

В таком тепле только присядь на миг — и заснешь тут же.

Комнат в конторе две. Второй, прорабской, дверь недоприкрыта, и оттуда голос прораба гремит:

— Мы имеем перерасход по фонду заработной платы и перерасход по стройматериалам. Ценнейшие доски, не говорю уже о сборных щитах, у вас заключенные на дрова рубят и в обогревалках жигают, а вы не видите ничего. А цемент около склада на днях заключенные разгрузили на сильном ветру и еще носилками носили до десяти метров, так вся площадка вокруг склада в цементе по шиколотку, и рабочие ушли не черные, а серые. Сколько потерь?!

Совещание, значит, у прораба. Должно, с десятниками.

У входа в углу сидит дневальный на табуретке, разомлел. Дальше Шкурпапенко, Б-219, жердь кривая, бельмом уставился в окошко, доглядает и сейчас, не прут ли его дома сборные. Толь-то проахал, дядя.

Бухгалтера два, тоже эски, хлеб поджаривают на печке. Чтоб не горел — сеточку такую подстроили из проволоки.

Цезарь трубку курит, у стола своего развалился. К Шухову он спиной, не видит.

А против него сидит X-123, двадцатилетник, каторжанин по приговору, жилистый старик. Кашу ест.

— Нег, батенька, — мягко этак, попуская, говорит Цезарь, — объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. «Иоанн Гроз-

ный» — разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!

— Кривлянье! — ложку перед ртом задержал, сердится X-123. — Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насушного! И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единичной тираннии. Глумление над памятью трех поколений русской интеллигенции! (Кашу ест ртом бесчувственным, она ему не впрок.)

— Но какую трактовку пропустили бы иначе?..

— Ах, пропустили бы?! Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!

— Гм, гм, — этакшлялся Шухов, стесняясь прервать образованный разговор. Ну, и тоже стоять ему тут было ни к чему.

Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, будто каша сама приехала по воздуху, — и за свое:

— Но слушайте, искусство — это не что, а как.

Подхватился X-123 и ребром ладони по столу, по столу:

— Нет уж, к чертовой матери ваше «как», если оно добрых чувств во мне не пробудит!

Постоял Шухов ровно сколько прилично было постоять, отдав кашу. Он ждал, не угостит ли его Цезарь покурить. Но Цезарь совсем об нем не помнил, что он тут, за спиной.

И Шухов, поворотясь, ушел тихо.

Ничего, не шибко холодно на улице. Кладка сегодня как ни то пойдет.

Шел Шухов тропой и увидел на снегу кусок стальной ножовки, полотно поломанного кусок. Хотя ни для какой надобности ему такой кусок не определялся, однако нужды своей вперед не знаешь. Подобрал, сунул в карман брюк. Спрятать ее на ТЭЦ. Запазливым лучше богатого.

На ТЭЦ приди, прежде всего он достал спрятанный мастерок и засунул его за свою веревочную опоясочку. Потом уж нырнул в растворную.

Там после солнца совсем темно ему показалось и не теплей, чем на улице. Сыроватей как-то.

Сгрудились все около круглой печурки, поставленной Шуховым, и около той, где песок греется, пуская из себя парок. Кому места не хватило — сидят на ребре ящика растворного. Бригадир у самой печки сидит, кашу доедает. На печке ему Павло кашу разогрел.

Шу-шу — среди ребят. Повеселели ребята. И Иван Денисычу тоже тихо говорят: бригадир процентовку хорошо закрыл. Веселый пришел.

Уж где он там работу нашел, какую — это его, бригадирова, ума дело. Сегодня вот за полдня что сделали? Ничего. Установку печки не оплатят, и обогревалку не оплатят: это для себя делали, не для производства. А в наряде что-то писать надо. Может, еще Цезарь бригадиру что в нарядах подмучает — уважителен к нему бригадир, зря бы не стал.

«Хорошо закрыл» — значит, теперь пять дней пайки хорошие будут. Пять, положим, не пять, а четыре только: из пяти дней один захалтыривает начальство, катит на гарантийке весь лагерь вровень, и лучших и худших. Вроде не обидно никому, всем ведь поровну, а экономят на нашем брюхе. Точно, ээка желудок все перетерпеливает: сегодня как-нибудь, а завтра наедемся. С этой мечтой и спать ложится лагерь в день гарантийки.

А разобраться — пять дней работаем, а четыре дня едим.

Не шумит бригада. У кого есть — покуривают втихомолку. Сгрудились во теми — и на огонь смотрят. Как семья большая. Она и есть семья, бригада. Слушают, как бригадир у печки двум-трем рассказывает. Он слов зря никогда не роняет, уж если рассказывать пустился — значит, в доброй душе.

Кто в зоне остается, еще так шестерят: прочтут на дощечке, кому посылка, встречают его тут, на линейке, сразу и номер сообщают. Много не много, а сигаретку и такому дадут.

Добежал Шухов до посылочной — при бараке пристройка, а к той пристройке еще прилепили тамбур. Тамбур снаружи без двери, свободно холод ходит, — а в нем все ж будто обжитой, ведь под крышею.

В тамбуре очередь вдоль стенки загнулась. Занял Шухов. Человек пятнадцать впереди, это больше часу, как раз до отбоя. А уж кто из тцовской колонны пошел список смотреть, те позади Шухова будут. И мехзаводские все. Им за посылкой как бы не второй раз приходится, завтра с утра.

Стоят в очереди с торбочками, с мешочками. Там, за дверью (сам Шухов в этом лагере еще ни разу не получал, но по разговорам), вскрывают ящик посылочный топориком, надзиратель все своими руками вынимает, просматривает. Что разрежет, что переломит, что прощупает, пересыплет. Если жидкость какая, в банках стеклянных или жестяных, откупорят и выливают тебе, хоть руки подставляй, хоть полотенце кулечком. А банок не отдают, боятся чего-то. Если из пирогов, сладостей подиковинней что или колбаса, рыбка, так надзиратель и откусит. (А залупись попробуй — сейчас придерется, что запрещено, а что не положено — и не выдаст. С надзирателя начиная, кто посылку получает, должен давать, давать и давать.) А когда посылку кончат шмонять, опять же и ящика посылочного не дают, а сметай себе все в торбочку, хоть в полу бушлатную — и отваливай, следующий. Так заторопят много, что он и забудет, чего на стойке. За этим не возвращайся. Нету.

Еще когда-то в Усть-Ижме Шухов получил посылку пару раз. Но и сам жене написал: впустую, мол, проходят, не шли, не отрывай от ребятшек.

Хотя на воле Шухову легче было кормить семью целую, чем здесь одного себя, но знал он, чего те передачи стоят, и знал, что десять лет с семьи их не потянешь. Так лучше без них.

Но хоть так он решил, а всякий раз, когда в бригаде кто-нибудь или в бараке близко получал посылку (то есть почти каждый день), шемило его, что не ему посылка. И хоть он накрепко запретил жене даже к пасхе присылать и никогда не ходил к столбу со списком, разве что для богатого бригадника, — он почему-то ждал иногда, что прибегут и скажут:

— Шухов! Да что ж ты не идешь? Тебе посылка!

Но никто не прибегал...

И вспомнить деревню Темгенево и избу родную еще меньше и меньше было ему поводов... Здешняя жизнь трепала его от подъема и до отбоя, не оставляя праздных воспоминаний.

Сейчас, стоя среди тех, кто тешил свое нутро близкой надеждой врезаться зубами в сало, намазать хлеб маслом или уластить сахарком кружку, Шухов держался на одном только желании: успеть в столовую со своей бригадой и баланду съесть горячей, а не холодной. Холодная и полцены не имела против горячей.

Он рассчитывал, что если Цезаря фамилии в списке не оказалось, то уж давно он в бараке и умывается. А если фамилия нашлась, так он мешочки теперь собирает, кружки пластмассовые, тару. Для того десять минут и пообещался Шухов ждать.

Тут, в очереди, услышал Шухов и новость: воскресенья опять не будет на этой неделе, опять зажиливают воскресенье. Так он и ждал, и все ждали так: если пять воскресений в месяце, то три дают, а два на работу гонят. Так он и ждал, а услышал — повело всю душу, перекривило: воскресенья-то кровное кому не жалко? Ну да правильно в очереди

говорят: выходной и в зоне надсадить умеют, чего-нибудь изобретут — или баню пристраивать, или стену городить, чтобы проходу не было, или расчистку двора. А то смену матрасов, вытряхивание, да клопов морить на вагонках. Или проверку личности по карточкам затеют. Или инвентаризацию: выходи со всеми вещами во двор, сиди полдня.

Больше всего им, наверно, досаждают, если ээк спит после завтрака. Очередь, хоть и медленно, а подвигалась. Зашли без очереди, никого не спросив, оттолкнув переднего, — парикмахер один, один бухгалтер и один из КВЧ. Но это были не серые ээки, а твердые лагерные придурки, первые сволочи, сидевшие в зоне. Людей этих работяги считали ниже дерьма (как и те ставили работяг). Но спорить с ними было бесполезно: у придурни меж собой спайка и с надзирателями тоже.

Оставалось все же впереди Шухова человек десять, и сзади семь человек набежало — и тут-то в пролом двери, нагибаясь, вошел Цезарь в своей меховой новой шапке, присланной с воли. (Тоже вот и шапка. Кому-то Цезарь подмазал, и разрешили ему носить чистую новую городскую шапку. А с других даже обтрепанные фронтальные посядрили и дали лагерные, свинаяго меха.)

Цезарь Шухову улыбнулся и сразу же с чудачком в очках, который в очереди все газету читал:

— Аа-а! Петр Михалыч!

И — расцвели друг другу, как маки. Тот чудак:

— А у меня «Вечерка» свежая, смотрите! Бандеролью прислала.

— Да ну?! — И суется Цезарь в ту же газету. А под потолком лампочка слепенькая-слепенькая, чего там можно мелкими буквами разобрать?

— Тут интереснейшая рецензия на премьеру Завадского!..

Очи, москвичи, друг друга издали чувят, как собаки. И, сойдясь, все обнюхиваются, обнюхиваются по-своему. И лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадают, слушать их — все равно как латышей или румын.

Однако в руке у Цезаря мешочки все собраны, на месте.

— Так я это... Цезарь Маркович... — шепелявит Шухов. — Может, пойду?

— Конечно, конечно. — Цезарь усы черные от газеты поднял. — Так, значит, за кем я? Кто за мной?

Растолковал ему Шухов, кто за кем, и, не ждя, что Цезарь сам насчет ужина вспомнит, спросил:

— А ужин вам принести?

(Это значит — из столовой в барак, в котелке. Носить никак нельзя, на то много было приказов. Ловят, и на землю из котелка выливают, и в карцеры сажают — и все равно носят и будут носить, потому что у кого дела, тот никогда с бригадой в столовую не поспеет.)

Спросил, принести ли ужин, а про себя думает: «Да неужто ты шквальгой будешь? Ужина мне не подарить? Ведь на ужин каши нет, баланда одна голая!..»

— Нет, нет, — улыбнулся Цезарь, — ужин сам ешь. Иван Денисыч! Только этого Шухов и ждал! Теперь-то он, как птица вольная, выпорхнул из-под тамбурной крыши — и по зоне, и по зоне!

Снуют ээки во все концы! Одно время начальник лагеря еще такой приказ издал: никаким заключенным в одиночку по зоне не ходить. А куда можно — вести всю бригаду одним строем. А куда всей бригаде сразу никак не надо — скажем, в санчасть или в уборную, — то сколачивать группы по четыре-пять человек, и старшего из них назначать, и чтобы вел своих строем туда, и там дожидался, и назад — тоже строем. Очень начальник лагеря упирался в тот приказ. Никто перечить ему

shocciation
ostranenie
kinokar

subano
ankorka
ankorka

intelligent
p. 114
canalini minerali

garvett

uccel d
bosao

— Спасибо У вас у самих нет!

— Е-е-е!

У нас нет, так мы всегда заработаем.

А сам колбасы кусочек — в рот! Зубами ее! Зубами! Дух мясной!
И сок мясной, настоящий. Туда, в живот, пошел.

И — нету колбасы.

Остальное, рассудил Шухов, перед разводом.

И укрылся с головой одеяльцем, тонким, чемытеньким, уже не при-
слушиваясь, как меж вагонок набилось из той половины эзков: ждут,
когда их половину проверят.

Засыпал Шухов, вполне довольный. На дню у него выдалось се-
годня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не
выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку,
стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал
вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся.

Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый.

Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шесть-
сот пятьдесят три.

Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...]

*Il lavoro
di minatori*

*villaggio
socialista
modo di
vita*

7919370